

Ольга Покровская  
*Аркадиана*

Повесть



Ольга Покровская  
**Аркадиана. Повесть**

«Издательские решения»

**Покровская О. В.**

Аркадиана. Повесть / О. В. Покровская — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-858096-3

Тридцатилетняя москвичка, выброшенная разводом из привычной жизненной колеи, пытается побороть одиночество и восстановить отношения с родными и друзьями.

ISBN 978-5-44-858096-3

© Покровская О. В.  
© Издательские решения

# Аркадиана Повесть

**Ольга Владимировна Покровская**

© Ольга Владимировна Покровская, 2017

ISBN 978-5-4485-8096-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Я кормлю уток, наклоняясь с бетона к болотному компоту с разводами на дне. Приятны близкие, даже если это утки. Душа радуется от бестолковости... Вылитая я... По охотному подрагиванию клювов кажется, они меня узнают. Они, несмотря на патологическую глупость, приближаются только к детям. Ученые. Будешь ученым, когда рядом два голодных общежития, организация с регулярно и активно любящими природу сторожами и точка общепита с дурной репутацией. Лестно заблуждаться, что фауна тебя отличает, но я скорее ошибаюсь – родственные души не бывают смысленными, знаю по себе. Просто они жадные, и с глазами у них плохо. Чтоб взяли кусок хлеба, надо запихивать в глотку. Селезень нахальнее. Вырывает у серых клуш куски из-под носа. Это нам тоже знакомо... Мечтательно тянет швырнуть в него кирпичом, но не будем пугать водоплавающих. Приходится точнее кидать, когда получается – прицельное метание хлеба все равно что драка на картонках... Кругом тихо, ветра нет, летний вечер, солнце садится, и народ в парке гомонит так, что пернатым не снилось.

Откуда здесь чайки? Москва – порт пяти морей... Пыль над развалинами рассеялась, а побочные продукты резкими зигзагами бликуют где-то в области периферийного зрения. Зазеваешься, вырвут хлеб из рук. Наглые твари, ничего не получают. Они на меня не похожи. Сами пропитаются с такими замашками. До водохранилища добрых полкилометра, но они как чувствуют дистанционно... Я машу рукой, топаю ногой, но что им мои конечности... если бы хоть рогатку... Только дитя, утонувшее в штанишках на вырост, оторопело смотрит, как дергается тетя. Бабушку тетины припадки не волнуют, ее заботит, чтобы дитя не упало в воду. Одной рукой она держит его за пояс, а другой подает пакетик: «Держи кусочек... Скажи: утя, утя, утя...»

Она уже косит глаз в мою сторону, как на личного врага: кто посмел узурпировать уток? Бабушки страшней, чем чайки – адекватности иной раз столько же, а масса нападения значительней... Я бросаю в воду остатки батона и поворачиваю прочь от греха. Она не поняла, что от моего отсутствия лучше не станет. Птицы вернутся в середину пруда, и поди их вымани. Можно пожалеть дитяню, двинуться берегом во главе косяка и подвести уток прямо в нужную точку, но ребенок должен знать, что глядеть волком на окружающий мир себе дороже выходит.

Я иду, топчу рисунки мелом, по дорожке, лузгаю семечки, одновременно впитываю глазами пейзаж и уворачиваюсь от любителей велосипеда-роликов. Что им ногами не ходится... и кто им сказал, что я похожа на мишень... не понимаю. «Купаться запрещено». Кто бы сомневался... В парке чувствуешь себя, как на дне кастрюли с эмалированной крышкой. Небо чистое, без облачка. Белое небо, как молоко... именно в парке белое. То ли зрительная иллюзия, то ли общежитские студенты коноплю растяг рядом... Даже поросль дурных грибов в виде новостроек не сильно режет глаз. Сейчас окрестные дома закатно розоваты, и только мертвая башня грузно-серая, как свинец. Башня не меняет цвет ни при каких погодных условиях. От тридцатилетней пропитки водой снаружи и изнутри ее материал приобрел такие хитрые физические свойства, что световые лучи отражает с трудом. Оконные глазницы пустые и черные. Ирка говорила, там вроде сатанисты обитают... или сатанисты в больнице у станции «Хов-

рино»?.. А здесь анархисты тусуются и бойцовых собак натаскивают?.. Кто их поймет, окружающая биосреда так разнообразна, что всех помнить, кто где, мозгов не хватит.

Я иду, нюхая растертый в пальцах цветок ромашки и отбрасывая в сторону носком туфли красные упаковки от пистонов. Вот, значит, где вчера бабахало весь вечер... Цветы жизни чертовы... Как бы я пела, будь у меня дети?... Наверное, умилялась бы, как моя сестра с сумасшедшим мужем, которые восторгаются, когда племянники обдирают обои и заливают соседей. Но мама думает иначе... Мама обо мне плохого мнения. Она и племянников держит подальше, чтобы я плохо не влияла, хотя после Марика – их папаши – мне там вообще делать нечего. Но Марик солидный семейный человек, положительный отец семейства, и у него душа исследователя, а я – семейный урод, с двумя неудачными мужьями в прошлом, неизвестно чем в настоящем, и детей мне бог не дал не зря... Когда наши государевы люди похватались за свечки и встали строем к алтарю, мама тоже решила поверить в бога, правда, у нее религиозное чувство больше на интуитивном уровне, в комплекте с астрологическими прогнозами и экстрасенсами, в которых «что-то есть».

Я перехожу дорогу и двигаюсь к себе. У Иркиного магазина с облаков кричат «Эй!..» Я поднимаю голову, и на меня острием в щеку пикирует бумажный голубь. Учись меткости, родная... Ирка машет рукой.

– Зайди! – говорит она. – Или торопишься? Поддержи общество!

Лицо румяное, как из парилки. Я поднимаю голубя, разворачиваю бумагу и разглаживаю на ладошке. Акт о приеме работ по установке холодильного оборудования. С подписью и печатью. Ну-ну. Даже будь нужен, теперь не годится.

– Чего? – кричу я, задрал голову.

– Ренат отмечает! – говорит Ирка. – Видеокамеру купил.

Это надолго. Скорее на весь вечер. Планов у меня нет, но я наслаждаюсь собственной трезвостью, и не намерена давать слабину.

– Не могу! – говорю я, махнув рукой. – Звонка жду. Прощайте, красотки.

Ирка еще машет рукой и исчезает, а я представляю очередную пьянку в подсобке, ящики, коробки, Рената, теток из соседнего ателье и, довольная собой и собственной твердостью, напевая, иду дальше.

Я подхожу к булочной у метро и нюхаю воздух. Не пахнет. Раньше пахло... В детстве булочная занимала весь первый этаж, и перед праздниками мы всегда стояли в длинной очереди за тортом. Как-то бабушка купила мне здесь коробку сахарных фигурок. Думаю, что для бабушки с ее колхозной пенсией и копеечный сахар был роскошью... Там были машинки... слоники, кажется... Потом булочная неуклонно уменьшалась – к ней подселились обменник, ювелирный, продуктовый... и здесь перестало пахнуть хлебом. Без бабушки мне было плохо пришлось. Она мне оставила квартиру, куда я пришла после развода – налегке, с парой тряпок, хранящих следы зубов от мертвой хватки моего супруга, исполненной благородного негодования... Мама недовольна, что я занимаю квартиру. Если бы не я, они бы кстати ее сдавали, потому что мятущаяся душа Марика зарабатывать не умеет... Маме хотелось, чтобы я жила у мужа, и была обеспечена. Иначе она не может гордиться мной... Однако вешаться не тянет даже ввиду презираемости. Они не представляют, каким геморроем бы обернулась им сдача квартиры. Они бы забыли о спокойной жизни. Мой дом не выносит, когда сдают квартиры. Два прецедента уже было – может, и больше, других не знаю. На девятом этаже обитали два молодых человека, жили очень тихо, музыку не слушали, баб не водили, скандалов не устраивали... Только как-то утром, не торопясь, вышли к своему авто, один из них тупо пнул ногой колесо, машина дрогнула, под днищем что-то щелкнуло, упало, и на свет медленно выкатилась граната. Что называется, «звоня и подпрыгивая». Молодые люди отреагировали подозрительно – не ахали, не кричали, даже не удивились, а только молча, не медля ни секунды, бросились мордами вниз на газон. Поэтому не пострадали. Вообще никто не пострадал – на детской пло-

щадке за ранним часом никого не было. В доме напротив вынесло большое стекло цокольного этажа, и сработало энное количество сигнализаций в окрестных дворах. После взрыва молодые люди поднялись, отряхнулись, прочистили уши, направились к улице, проголосовали, сели в первую остановившуюся машину, уехали, и больше их никто тут не видел. Даже участковый, который неделю сидел в засаде... А во втором случае квартиросъемщик то ли попал в КПЗ, то ли ушел в загул, в квартире без него скончалась собака, через некоторый срок в коридор неслабо потянуло, перепуганные соседи вызвали милицию, дверь вскрыли с понятами, потом запечатали, потом кто-то сорвал печати... В общем, к любому нанимателю по два раза на дню ходили бы всякие делегации с проверкой, все ли в порядке.

Тем более, что наш дом не простой. Наш дом населен людьми, сильно пострадавшими при переходе государственной власти из одной руки в другие. Часть контингента успешно вписалась в капиталистическую действительность, но этим некогда плевать в соседский суп. А бывшие двадцатые секретари райкомов, министерские секретарши, профсоюзные машинистки, председатели народного контроля и иже с ними оказались не у дел, обнищали, озлобились, и яростно, как только эти ребята профессионально умеют, портят жизнь всем, кто попадет под руку. Если б не пятнадцатый этаж, я бы поднималась по пожарной лестнице, подальше от посторонних. Да и то, натываясь на чьи-нибудь лязгающие челюсти, я даю себе клятву заняться альпинистским спортом, тем более что здоровью только польза. Правда, лень побеждает. Пока побеждала...

Зачем Ренату видеокамера?... Он сам говорит, что пять лет без отдыха. Снимать оптовые базы, налоговые инспекции и любимых покупателей? Дачу взятки из-под полы? Тут он преуспеет... Или собрался куда-то? А на кого оставит магазин, не представляю? Впрочем, его дело.

Я иду дальше. Арбузы... нет, я раньше августа арбузы не беру. Я не питаюсь удобрениями. А вот яблоко я бы купила. Яблоко... Да... С него еще можно срезать шкурку, посушить и бросить в чай. При условии, что яблоко будет настоящее, а не парафиновые чушки, которые пять лет везли на пароходе из Новой Зеландии... Когда созреют коричневые, я куплю килограмм на базаре, поставлю полную тарелку на кухонный стол, буду в день съедать по штуке, и недели две вся квартира будет благоухать свежими, с росой и мокрыми листиками, яблоками... Можно белый налив, но он не такой ароматный... А вот и цирк поехал – лысый мужик на пятнистом камуфляжном джипе с бойцовым псом на переднем сидении. Проплыл куда-то в сторону Смольной. Хорошо хоть, не в наш дом. У нас тоже клоунов хватает, но такого не было...

Я заворачиваю за угол, и на горизонте обозначается неприятность. Я еще надеюсь, что базарный крик доносится из чужого дома. Зря надеюсь... Вот она, картина маслом: одна из дежурных по подъезду, ночной кошмар тургеневской девушки, стоит на крыльце и верещит, как угоняемый Мерседес. Внизу невнятная синяя иномарка и пухлый мужик рядом, озбоченно потирающий затылок. Или он о мусорный бак стукнулся, или его стукнули... Похоже, что его. Поцарапан бок и побита задняя фара.

– Антоша! – голосит тетка. – Ты в милицию, в милицию звони! И это... объявление повесь! Может, видел кто, чтоб свидетели нашлись! И звони, звони в милицию! Что ж стоишь-то... Это ж надо, совсем совесть потеряли! На доске давай повесим!.. У тебя бумажка есть?

При слове «свидетели» я замираю на месте с занесенной на полшаге ногой. Не будем торопиться... В свидетели нам не надо... Мужичу, кажется, эти рулады действуют на нервы больше, чем факт побитости. Он потный от жары, усталый, у него обвисшие плечи, и он немного напоминает плюшевого медведя. Он беспомощно осматривает окрестность и ловит мой взгляд. Я стою, лузгаю семечки и делаю мужичу сочувственную гримасу. Мужик непонимающе хмурится. Силится понять, что бы это значило. Клинический случай попался. Я спле-

ываю шелуху и отхожу в сторонку. Решит еще, что это я на него наехала своим некрепким корпусом. Или побилась о фару головой.

Итак, тетка высится на крыльце, загораживает дорогу и подозрительно стрижет глазами. Из подъезда бредет еще один божий одуванчик с иезуитской улыбочкой, и между ними закипает какое-то бурное обсуждение. Мне противно. Если я пойду в подъезд, у меня будут выпытывать, не я ли сбросила в мусоропровод двадцать квадратных метров сбитой кафельной плитки, и чем я докажу, что не я. Сейчас бы я, кажется, с удовольствием поднялась бы пешком и на пятнадцатый этаж. Почему я не ношу с собой ключ от пожарной лестницы (полкило веса, это они, гады, нарочно)?..

От того, что домой не попасть, на меня, беззащитную, накатывает вселенское несчастье. Я не сильно люблю свою квартиру, но часто убеждаюсь, что это самое прекрасное место на земле. Я привычно чувствую себя изгнанной, меня так часто чего-то лишали, то это чувство становится почти реальным. Стоп, говорю я себе. Мне плевать (и я сплевываю). Я пойду к Ренату и буду веселиться, а они пусть перетравятся своим змеиным ядом.

– Прощайте, красотки, – говорю я далеким теткам и делаю «кругом на месте».

Я прохожу, напевая, мимо синей иномарки, презрительно глядя на владельца (он снова ничего не понимает), легко кидая в рот семечки и так же легко выплевывая шелуху. От крестьянских предков я усвоила умение лузгать семечки. Я не умею пахать, не умею окучивать картошку, не умею доить корову, не умею жать, косить, не умею прясть веретеном, как умела моя бабушка, а вот семечки лузгать умею. Даже Ирка завидует, потому что у нее не получается.

Первым меня встречает, вытирая мощный лоб, охранник Олежек – здоровенный детина с кирпичным от пьянства лицом. Форма сидит на нем как пижама. Ни разу мне не удавалось незаметно пролететь мимо тихим ангелом. Мастерство не пропьешь.

– Нина! – хрипит он страшным голосом и целит на мой голый локоть. – Давно тебя не было. Совсем не заходишь.

Давно – это два дня. Впрочем, Олежкина память затуманена, как цветущий яблоневый сад холодной майской ночью. Дни у него сливаются и разливаются обратно по неизвестным науке законам. Памятью он не работает, сразу видно.

– Дела, Олежек, дела, – говорю я, медово улыбаясь, и высвобождаю руку поворотом, близким к вывиху.

– Дела... – хрипит Олежек мне вслед. – Какие дела могут быть у красивой молодой женщины?

Я поднимаюсь по ступенькам, непроизвольно шевеля бедрами. Стоило прийти, чтобы услышать комплимент. В нашем доме за сто метров все приятные слова гибнут и скукоживаются на корню.

Компанию, сидящую в подсобке, я застаю теплой, как погода на день солидарности трудящихся. Сквозь противный сигаретный дым пахнет коньяком и свежими огурцами. Я вдыхаю полной грудью и понимаю, что хочу коньяка и свежих огурцов.

– Ну что? – кричит Ирка. – Дождалась звонка?

Я уже забыла, что я соврала. Хорошо, что соврала удачно. Дождалась звонка – вечер свободен.

– Что налить? – лаконично говорит Ренат, занося клешню на бутылочное горлышко. Он только ждет, какое прикажут обхватить.

– Подождите, – говорю я умоляюще. – Сперва пустите в туалет!

Общество хихикает. Но я знаю, что говорю. Сейчас Ренат затащит в туалет какую-нибудь деваху, и туда вообще не попадешь. Ренат чувствует камень в свой огород и обиженно пыхтит в спину:

– Ты к нам пришла или куда, я не понял?..

– А если куда?.. – бросаю я через плечо к удовольствию собравшихся, по кондиции готовых получать удовольствие от пальца, показанного на всеобщее обозрение.

Зато он мстит. Когда я возвращаюсь, он ждет меня, обнимая коробку из-под ирисок «Золотой ключик».

– Держи, – говорит он хмуро. – Не плюй на пол. Я знаю, плевать начнешь.

– Ренатик, – гладит его Ирка по руке. – Открой шампанское. Открой, солнышко. Вот и Нина пришла. Неужели ты Нину без шампанского оставишь, сокол?

Экспедитор Жора шарит по столу и озадаченно, с неммым вопросом, заглядывает в каждый стакан. Это он ищет, который чище.

– На тебе мой, – говорит Ирка, уловив в лице моем сомнение. – У меня два.

Она передает мне чашку со следами ярко-розовой помады. Я оглядываюсь, пытаюсь угадать Ренатову пассию. Ничего похожего. Сидят три тетки то ли из ателье, то ли из рыбной лавки, обливаются на шампанское и обмахивают китайскими платочками немаленькие вырезы. На Рената не глядят. Что им хлипкие бизнесмены, загнанные жизнью – им бы взвод солдатиков. Каждой.

– А вот у нас Валюша совсем не пьет, – ласково говорит Жора тетке в вязаном платье, которая сидит, пригорюнившись, и методично с хрустом перемальвает кусок вафельного торта. – Ты что ж не пьешь, Валя?

– Не могу, – отвечает Валя со вздохом. – И не просите.

– А шампанское, Валюша?

– Не могу, – Валя хмурится, но Жора не отстает.

– Больна, что ли? – спрашивает он участливо, заглядывая в глаза – с тем же вопросом, что стакану.

Валя снова тяжело вздыхает и принимается облизывать пальцы.

– И не просите, – говорит она мрачно. – Не больна, а не могу, – она делает паузу и сокровенно сознается: – Я как выпью – мне мужика надо.

Мужская часть компании потрясенно молчит и значительно переглядывается. Беззвучно они принимают какое-то неведомое решение, и смелый Жора прерывает напряженную паузу.

– Да что ты, Валя, – восклицает он с наигранной уверенностью, немного не попадающей в правильную тональность, как пьяный музыкант на свадьбе. – Да мы-то что ж, не мужики? Ты пей. Обеспечим.

– Неет... – горестно протягивает Валя и, поднимая взгляд в никуда, добавляет мечтательно. – Я как выпью – мне его так надо, чтоб от него только клочья полетели...

И она задумчиво засовывает в рот толстенький, испачканный шоколадом палец. В ее глазах отблесками воспоминаний сверкает нехороший желтый огонь. Картина так отчетлива, что я за метр чувствую, как Ренат содрогается всем телом. Жорина рука с бутылкой повисает в воздухе, и на его лице появляется тоскливое выражение. Словно большой мастер взмахнул последний раз палочкой, откинул локон и замер. Воцарившаяся тишина достойна взрыва бурных аплодисментов и истерики в зале. Больше никто не настаивает.

– Ренатик, – капризно протягивает Ирка. – Ты почему нас не снимаешь? Зачем ты купил камеру? Ты должен снимать самое лучшее. А кто у тебя лучшее? Мы.

– Разобраться надо, – отвечает Ренат, перед потрясенными глазами которого отголоском проносятся хвосты каких-то видений. – Я еще не разобрался.

И недовольно смотрит на часы. То ли задерживается, то ли не пришла. Жора, с горем пополам справившийся с нервным шоком, начинает рассказывать, по каким пробкам его носило. По пробкам Жора вообще путешествует много, так что рассказы у него из серии «шел один верблюд... шел другой верблюд...», только измеряются не в верблюдах, а в козлах, попавших по дороге. В смысле, не с рогами, а за рулем.

Торопиться мне, раз уж явилась, некуда, поэтому я сижу до последнего момента. Огурцы кончаются. Убегает Ирка, смахивая в рот крошки торта на ходу, уходит темпераментная Валя, серой утицей переваливаясь с боку на бок (с такими женщинами страна не пропадет), уходит, гремя пустой посудой, Жора. Темнеет. Вдвоем с сумрачным Ренатом (она не пришла) мы пьем на посошок, и я чуть не опрокидываю на него коробку с шелухой. Было бы неплохо для законченности впечатления. До лучших людей нам далеко, так хоть какой поступок совершить...

– Подожди меня, – говорит Ренат. – Я сейчас все закрою, тебя провожу.

– Мне идти три минуты, – возражаю я.

– Подожди, – говорит Ренат веско, и я слушаюсь. Мужчина не всегда умеет сказать убедительно. Ренат умеет. Восточное воспитание плюс московская школа малого бизнеса (а до того была, по-моему, стерлитамакская, тоже не слабо).

Я медленно и нетвердо спускаюсь на первый этаж, и меня подхватывает Олежка, мелким бесом возникающий из ниоткуда – как положено хорошему охраннику. Ржа у него аналогично, как у врага рода человеческого – опаленная адским пламенем крепости не ниже сорок пять.

– Нина-Нина! – зовет он. – Поди сюда!

Я обреченно вползаю в его каморку и на автопилоте двигаюсь к столу. У него разлит по стаканчикам «Русский Стандарт» и порезан на мелкие кусочки бутерброд с салом, выданный женой на обед. Откуда у него «Русский Стандарт»? Подпаивает его кто-то со стороны, не иначе. Или у него только бутылка, в которую он заливает тормозную жидкость? В прошлый раз бутылка была от «Гжелки».

– За здоровье, Нина! – провозглашает Олежка, огненно дыша, как Змей-Горыныч. – Здоровье главное. Остальное купим.

Приходится пить. Пьет Олежка как сапожник. Не любит только в одиночку – сложившиеся стереотипы мешают, плакаты «Пьянству – бой» из раннего детства... Поэтому если ему удастся поймать на ночь глядя живую душу, он ее просто так никогда не отпустит. Он снова тянется к бутылке, но меня выручает гневный и зычный баритон Рената, дребезжащий в их суперевропейских стеклопакетах:

– Нина! Ни-на!

Махнув последнюю и скорчив извиняющуюся рожу, я вылетаю на волю.

Ренат стоит на ступеньках, звенит ключами в кармане и недовольно ворчит:

– Что за женщина! Тебя на минуту невозможно оставить.

– Ренат, что ж я могу поделать, – говорю я, оправдываясь (ах, как это приятно – оправдываться перед суровым мужчиной, особенно не имея к нему отношения). – Ты ж его знаешь.

– Что он? Мужик сопьется, а ты, – Ренат обличительно тыкает в меня пальцем. – Ты потекаешь.

На улице темно, тепло и безлюдно. В кустах шуршат и пьют пиво. Мы идем мимо вестибюля метростанции. Я в задумчивости гляжу на элитные новостройки в форме зубов акулы и прикидываю, как там, наверху, от каждого прошедшего метропоезда вибрирует элитная посуда. Приятная мысль... Ирка утверждает, что ночью, под закрытие, здесь можно наблюдать, как хранители подземелий выволакивают из дверей бесчувственные тела, тащат на территорию, подведомственную местному ОВД, сваливают подарочки на газон и исчезают. Затем является наряд хранителей суши, обнаруживает подкидышей, чешет в затылках, берет за шкирки и волочит на территорию милиции водной, и такая передача эстафетных палочек может продолжаться всю ночь, пока тела не протрезвятся естественным порядком.

– Ренат, – умоляю я. – Ну что ты мучаешься? Мне правда ж пять минут идти. А тебя еще менты поймают.

– Я не мучаюсь, я тебя провожаю, – отвечает Ренат строго.

Я замолкаю. Спорить с Ренатом бесполезно.

– Потому что ты мой друг, – продолжает Ренат веско, рассуждая сам с собою. – А с друзьями всегда надо поступать, как с друзьями. Я так поступаю.

И он хмурит брови, словно сам с собой не согласился.

– Ясно, – говорю я покорно, и больше не возражаю.

Ренат доводит меня до подъезда. Внутрь не заходит. Он знает, что у меня за дом. Если я покажусь с ним в холле, завтра ко мне на допрос с пристрастием будет очередь, как к лопнувшим банкам в дефолт. Могут и маме позвонить. Сигнализировать. Ренатова внешность выходит за пределы стандартного славянского типажа, доверия он не внушает – ни московским дежурным по подъезду, ни представителям милиции всех сортов подчинения.

Слава богу, в холле никого. Проходя мимо доски объявлений, я автоматически ищу, какие кары сулит миру обиженный в задницу водитель синей иномарки. Но водитель еще не разразился угрозами. Обдумывает, видать, обслюнивая под настольной лампой чернильный карандаш... Формулирует... Висит старый список неплательщиков за коммунальные услуги с запоздалой на пятнадцать лет угрозой выселить за сто первый километр, и больше ничего.

Я отпираю дверь на лестничную клетку. Стараюсь тише, но замок старый, раздолбанный, несколько раз перебранный местным умельцем, и ключ, поворачиваясь, гремит, как колодезное ведро. Добираюсь на цыпочках до собственной двери. В щель засунута записка. Я внутренне вздрагиваю – не люблю получать ни записок, ни писем. Никто еще ничего радостного не сообщал, все больше неприятности... Но делать нечего – я разворачиваю и читаю несколько строк аккуратным, совершенно не мужским подчерком.

«Нина, не застал, заеду завтра. Саша.»

Между прочим, его не интересует, буду ли я дома. Заеду – и все тут. Правильно, что тебе еще делать... Сиди и жди.

С досадой я складываю записку и машинально чищу ноготь бумажным уголком. Тут клацает замок и является соседка Валентина Михайловна. То ли соседи днями напролет обнимают замочные скважины, то ли двери у них из папиросной бумаги, во всяком случае, по первому же свисту выскакивают все, как пингвины на сушу.

– Нина! – заявляет она тоном школьного завуча. – К тебе Саша приезжал.

– Я знаю, – соглашаюсь я. – Он записку оставил.

И поспешно предъявляю записку, как паспорт. Это уже на безотчетном уровне.

– А я же не знала, куда ты пошла, – продолжает Валентина Михайловна. – Ну а он только руками развел: жаль, говорит, что не застал. Вот так.

И смотрит укоризненно. Саша ей симпатичен. В отличие от меня. Саша, как дипломат советского разлива, умеет понравиться всем, в особенности сушеным фруктам вроде Валентины Михайловны. Она – бывший освобожденный секретарь парторганизации какого-то большого завода. Когда наступили новые времена, она не сориентировалась правильно, все кричала, что не могу, мол, поступаться принципами, поэтому в светлое будущее ее не взяли, на заводе хватало ухарей, не признающих добровольной дележки. Теперь, насколько я знаю, в цехах завода растет кипрей, по территории бегают собаки, в перспективе постройка элитного квартала для мучеников нефтяной трубы, а Валентина Михайловна на пенсии, но реликтовая активность без изменений.

– Да, – говорю я с чувством. – Жаль. Ну ладно, завтра приедет.

И стараюсь не смотреть ей в глаза. Шампанское, коньяк «Арагат», честно закушенный лимоном, две рюмки «Русского Стандарта»... Никакой тестирующей трубочки не требуется... Взгляд как у зайца на отчете перед дедушкой Мазаем. Я делаю вид, что смертельно устала, и быстро скрываюсь.

Наконец я дома. Бледнеет окно. Не зажигая света, я сажусь в темноте на диван. Диван квакает. Из окна пятнадцатого этажа не видно ни-че-го. Смоговое небо и идущий с крыши наискосок телевизионный кабель. Днем иногда на нем сидит ворона. Сидит, гадука, и молчит.

И вообще здесь птиц не слышно. Не квартира, а орбитальная станция «Мир». У мамы на третьем этаже слышно, как поют соловьи... Мечта одинокого парашютиста, ошибкой зацепившегося за облака – летними ночами погружаться в запах жасмина и сирени, и в соловьиное пение. Но на моей верхотуре уже начинается стратосфера, и здесь, сильно напившись, можно наблюдать, как фреон воюет с озоновым слоем – при условии, что чужие дяди не наврали нам об их существовании.

Я заваливаюсь на спину. В моей руке еще записка. Я подношу ее к носу – пахнет валокордином и кошками. У какой-то старушки листок позаимствовал... Не у Валентины Михайловны – у той нету кошек. Давно б сдохли, не выдержав командного стиля жизни и ходьбы строем. Хоть бы написал, когда приедет... Зануда. Мелочь пузатая... С одной стороны поднимается волна раздражения, но навстречу ей уже мчится другая, от предчувствия свидания. Сама ты... – говорю я себе со внутренним вздохом, поднимаюсь и иду на кухню. Снимаю крышку с квасного бака, зачерпываю полную чашку, пью, отчасти трезвею и задумываюсь. В холодильнике – полбанки хрена (наверное, выдохся), неполная пачка маргарина, кастрюля с квашеной капустой. Недоеденная гречневая каша. В морозилке – шматок нутряного сала (на случай бронхита) и сосисочный огрызок. Белая горбушка... и ею (я проверяю) можно гвозди забивать. Разве что уткам... Мужика кормить нечем. Денег тоже нет. Если быть точной, то есть сто двадцать рублей... Если быть совсем точной, то сто двадцать три. Негусто. Правда, денег он, я думаю, привезет. Привезет мою убогую пенсию... Что ж купить на сто двадцать три рубля? Можно банку лосося, растворить в макаронах – еще оставались... Пачку сметаны и килограмм огурцов. И пакет курабье. К чаю... хотя чая нет. Может, останется немного на чай? В крайнем случае, похлебают и квасу, он его любит. Ах да – еще хлеб. Попрошу отпилить половинку нарезного.

Я зачерпываю еще чашку и смотрю на часы. Без двадцати одиннадцать. Работает сейчас только ночной магазин. Придется перетереться туда... Завтра надо сидеть дома согласно предписанию. Но я люблю выходить вечерами. Меньше вероятности встретить борца за победу коммунизма, впавшего в маразм.

Я накидываю кожанку поверх платья и тихо крадусь из квартиры. Если встретится Валентина Михайловна, то непременно предложит свои услуги по приему любимого ею Саши, а я не хочу одолжений.

В холле тихо. Тетка, оравшая с крыльца, отдыхает... Сидит за стеклышком и сосредоточенно, выпучив глаза, перелистывает какой-то кондуит. Кажется, платежную ведомость. Недоимщиков выявляет... За святым занятием ей, слава богу, не до меня.

На улице я опускаю руку в карман куртки, достаю горсть семечек, и они восстанавливают пошатнувшееся душевное равновесие. Я ласково поглаживаю кожанку... немного потерялась. Привет из лучших времен... Наверное, я семечный наркоман. Я иду по вечерней улице, смотрю под ноги, чтобы не влететь по темноте в колдобину, плюю во все стороны, и в магазин прибываю уже в хорошем настроении. Неважно, что сто двадцать три рубля. Зато я физически чувствую единение с окружающим пространством. Воздух прохладен, возбуждающе пахнет скошенным газоном, донником и мальвами, в кустах громко матерятся, но даже многие пьяные сообщества меня не тревожат. Жизнью обиженные добропорядочные граждане с пеной у рта куда страшнее... Главное, чтобы лосось оказался качественным. Эти фокусники наловчились наполнять банку сплошь субстанцией, которая у них зовется собственным соком. В залитом светом пустом магазине я озабоченно трясу лосося над ухом, проверяя тональность бульканья, но тут из-за стоек доносится визг, и в результате я ничего не слышу. Визг не прекращается. Что все нервные сегодня... На этот раз верещит экспансивная дамочка.

– Это что, колбаса?! – возмущается она. – Ей сколько лет? Охамели совсем? Я тебе знаешь куда ее засуну! Забыли, кто такие? Это ты мне гнилую кишку, натертую постным маслом, подсовываешь? Мне? Сожрать заставлю весь батон!.. А другой затычкой вставлю!..

– Изви... ните... – слышится в ответ глубоко почтительный, едва шелестящий голос. – Я сейчас...

– Что сейчас? Забыла, как на брюхе ползала? Забыла, как по подсобкам строительным шлялась?.. Что? Стоять, бояться! Я не закончила еще!.. Где вторая звезда, ну-ка сюда, одна нога здесь, другая там!..

Как она их, думаю я восхищенно. Продавцов не жалко – два раза меня обсчитывали – но раньше я не слышала, чтобы их морально уничтожали без признаков сопротивления. Я осторожно заглядываю за стеллаж. Там стоит, уперев руку в бок, стройная платиновая красотка в василькового цвета костюме, окутанная белым в ярких розах народным платком с кистями и, стуча колбасным батонком по холодильной стойке, орет, как сирена в тумане, а я не верю своим глазам, потому что дамочка – моя одноклассница Верка Зотова (сейчас-то она не Зотова... а кто?..). Я слышала, что она вышла замуж и куда-то переехала. Что ж она здесь делает? Развелась? Или родителей навещает? С чувством некоторого страха (не наорала бы и на меня под горячую руку) я негромко зову ее:

– Веер...

Она стремительно оборачивается, слегка щурит глаза и безо всякого перехода, так, что я даже пугаюсь (сейчас и мне попадет колбасой по физиономии) с визгом бросается мне на шею.

– Ой, Нинка! – кричит она. – Ты здесь? Ты так тут и живешь? Или у своих? Ты ж вроде уезжала... Ой, ну Нинка!.. Ну надо же!..

Две продавщицы – одна в грязном халате, как с мясникова плеча – стоят по стойке смирно и кисло наблюдают наши объятия. Видно что-то им подсказывает, что с ними не завершили. Не дали команды разойтись. Будь они уверены в безлюдности, с удовольствием под шумок врезали бы нам какой-нибудь банкой кетчупа.

– Как ты их однако, – говорю я с завистью, когда мы размыкаем жаркие объятия и переходим на нейтральный тон. – Надо ж, как тебя слушают. Просто с замиранием сердца. Слово пропустить бояться. Еще пять минут, они бы тебя конспектировать начали, как дедушку Ленина. У меня так не получается. Ты авторитет, Вер. Уважают...

Вера с достоинством поправляет сбившийся с плеча платок.

– Еще б не уважали, – роняет она как бы между делом. – Это ж магазин моего мужа...

Мама недовольна, что Георгий Александрович платит мне пенсию. Так как Георгий Александрович официально мотивирует эту благотворительность памятью по отцу, бывшему научному руководителю и по жизни воспитателю, то маме кажется, не будь меня, неприкаянной, эти деньги достались бы ей. Глубокое заблуждение. Ни гроша бы не дал Георгий Александрович без учета личных целей. И отца он не помнит. Я уверена, что не помнит. И наверняка он не был его учеником. Мой отец не любил таких сверхъестественно ловких людей, как Георгий Александрович. Мой отец предпочитал талантливых и интеллигентных, а Георгий Александрович к таковым не относится. Получая деньги, я еще поддерживаю красивую легенду и берегаю витающую в облаках семью от лишнего разочарования. Все гораздо шкурнее – мне платят за Сашу. Георгия Александровича очень устраивает ситуация, когда у партнера, с одной стороны, нет семьи, а с другой стороны имеется постоянная любовница приличного происхождения, он не шляется в поисках приключений по притонам и не подвергается риску вляпаться в ненужную историю. В качестве прикрытия компаньоновой ахиллесовой пятки я Георгия Александровича вполне устраиваю. Тем более есть уверенность, что Саша на мне не женится. На таких как я, ничемных созданиях солидные люди не женятся. Я окупаю жалкие триста долларов ежемесячно на многожды процентов – хотя в виде великого благодеяния Георгий Александрович с падением доллара перешел на рублевый курс и платит мне девять тысяч. Как содержание, девять тысяч вызывают гомерический хохот, но с какой стати меня содержать?.. Скажи спасибо, голубушка, могли бы и шашкой зарубить... А за память им кажется в самый

раз... Я воспитанная женщина, я не оскорбляю нежных чувств денежными вопросами, а просто Георгий Александрович присылает мне девять тысяч, как дочери любимого и почитаемого учителя, оказавшейся в затруднительной ситуации... До конца я не уверена, чьи это деньги, из чьего кармана, и какие финансовые схемы между ними на этот счет существуют, а задумываться не считаю нужным. Я честно отрабатываю. Меньше знаешь, крепче спишь... Из-за таких спецов по финансовым схемам терять сон не хочется. Не тот, знаете ли, случай для потери сна.

Макарены обтекают в дуршлагае, а я режу огурцы. Если наши с Сашей высокие отношения длятся на одном градусе два года, то оттого, что градус нулевой. Один шаг, и далее точка замерзания. С первого взгляда на предмет во мне не шевельнулось ничего, кроме мысли: боже, какой урод. Пари держу, что мнение было обоюдным. Его снисходительные взгляды, которые я периодически ловлю, приходят из-за черты, огораживающей белых людей от мира прочей живой органики. Как меня угораздило оказаться с ним в одной постели, я не понимаю до сих пор, а так как из памяти за ничтожностью повода к запоминанию выпал этот волнующий момент, вряд ли мне удастся когда-нибудь восстановить истину.

Но это не значит, что я кривлю морду. Мужчина есть мужчина, он ждет с волнующим трепетом и глазами, полными восхищенного обожания. Во всяком случае, среди деревенских пращуров так было принято. И у Саши есть два больших достоинства. Во-первых, он создает иллюзию постоянства. Необходим и незаметен как условный рефлекс типа дыхания... Во-вторых, он хороший любовник, и большинство пышущих нетрезвой страстью мужских особей ему не годятся в подметки. Самое интересное, что врожденных талантов и склонности к этому роду занятий у него никаких нет. Все трудом и старанием. По жизни он зачуханный отличник, к которому ни одна девчонка не проявляла интереса, начиная с яслей. Вся его наука впитана с пылью библиотек. Но науку он, в отличие от статистического большинства, дал себе труд вызубрить, запомнить и усвоить каждой клеточкой. За это я его уважаю. Знаю по опыту, что большая часть дражайшего сильного пола прислушиваются к природе и школьным советам дворовых приятелей, а те почему-то ерунду подсказывают. Или они слушают плохо... С фантазией у него негусто, партнершу он не чувствует, зато полагается не на себя, а на теоретическую подготовку и мнение авторитетных людей по данному вопросу. Вопрос он изучал кропотливо и вдумчиво, во всей его всеобъемлющей полноте... Даже доскональное знание анекдотов про поручика Ржевского свидетельствует о серьезности подхода и об ответственном отношении к делу. Понятия «неприлично» для него не существует, как для нормального советского дипломата. Не знаю, успел ли он побыть дипломатом. Он секретствующая личность, я не знаю, кто он, и кем работает, и что у них за бизнес, и что их связывает с Георгием Александровичем. Так что он, может, никакой и не дипломат, а кто-нибудь из недоовоплощенных нелегалов.

Салат приготовлен, теперь я готовлю себя. Процесс ожидания доставляет удовольствие не меньшее, чем свидание. Я себя люблю в такие моменты. Именно в такие моменты я себя и люблю. Меня могут называть неприличными словами, но одеваться и приводить себя в порядок для окружающего мира, состоящего из политики, экономики, соседей и общественного транспорта, неинтересно, что там бы ни говорили. Ухаживать за собой, чтобы правильно раздеться, куда увлекательнее. Это нечто среднее между поэмой и приключением. В такие моменты я спинным мозгом ощущаю свою силу, красоту и масштаб собственной личности – все, что в другое время бесследно исчезает.

Звонок раздается около двух часов дня. Мы ранние пташки. Не встречаться же со мной вечером – вдруг я попрошу остаться на ночь, а это совсем другой коленкор. Тут пахнет сожительством и совместным ведением хозяйства... Тем более, что свидетелей не за страх, а за совесть кругом пруд пруди – и он это знает. Дай волю, он приперся бы в пять утра (он по биоритму жаворонок) но он знает, я-то сова, и раньше двенадцати он рискует тем, что все свидание я продремлю, не оживая на пикантных моментах.

Спеша открыть дверь, не успеваю выплюнуть шелуху. Приходится дуть в кулак в присутствии. Он меня не целует – то ли привычка, оставшаяся от времен моего замужнего состояния и требований конспирации, то ли просто нет потребности.

– Нина, Нина, – говорит он укоризненно, качая головой, и физиономия у него расплывается, как у довольного крокодила. – Опять грызешь? Ну что с тобой делать...

– Елки, кому я мешаю? – удивляюсь я, пряча руки за спину.

Он, не спеша, снимает начищенные ботинки и одевает тапочки.

– Окружающую среду загрязняешь, – говорит он степенно, как купец первой гильдии. – Плюешь на улице, как верблюд... Что будет, если все начнут плевать?

– Все и так плюют, – говорю я. – Да что я! После собачников я тут вообще отдыхаю. Вон, как снег весной растает – не пройти и не проехать, везде лежит выше головы, и на дорожках, и на травке тоже... положено. Да что весной, помнится, в их так называемый милениум, первого января двухтысячного года на Тверском бульваре все лежало выше крон деревьев, там и снега-то видно не было, там этот «прощай, двадцатый век» всю зиму разгребали. А ты ко мне прицепился.

Я же говорю – зануда.

– Надо кому-то быть сознательному, – говорит Саша, вынимая расческу и причесываясь. Есть у него бзик, он не может лечь в постель растрепанным. От потревоженных волос приходит запах резких альдегидов с великосветской претензией.

– А почему с меня начинать? – говорю я.

Он снова добродушно улыбается.

– Если не я – то кто же... – произносит он задумчиво что-то заученное с детства. – Пусть буду я...

– Ага, – говорю я, – ты как наши бабки, ей-богу.

– Ну а что бабки, – возражает Саша, краем глаза косясь в зеркало. Он вообще любит изучать себя в зеркале. Что особенного видит... – Бабка – санитар общества... Так к ней и надо относиться, как к добровольному помощнику... Это ты с твоей склонностью к конфликтам все драматизируешь...

– Ну как же, – говорю я.

Я веду его на кухню.

– Нет-нет, – говорит он, садясь. – Обедать не буду. Чайку попою... Возьми вот к чаю.

И протягивает мне коробку зефира в шоколаде. Экономит, гад. Купить такую же коробку полноценных конфет его жаба душит. На «Ауди» ездит, а скупой, как сто Плюшкиных. Это понятно... богатые не те, у кого много денег, а те, кто не тратится на ерунду...

– Спасибо, родной, – говорю я ошарашенным голосом. Тем временем он садится на табуретку и снимает крышку с квасного бака.

– Дай чашечку, – просит он. – Духота, пить хочется.

Я делаю вкусный квас, как делала бабушка, но съемом крышки, по наполненности бака, он проверяет – не было ли у меня гостей или сборищ. Он знает, что квас я делаю по пятницам, когда хожу на базар за продуктами, в день наилучшего соотношения выбора продуктов с количеством народа. А чабрец и мяту, кроме как на базаре, у узбеков, нигде не достанешь.

– Устал? – спрашиваю я участливо. Вид у него действительно не самый бодрый, и мне его отчасти жалко – куча дел, а приходится ехать к любовнице, ее и дома не застать, да еще и с пустыми руками не придешь... Морока, в общем.

– Ты бы позвонил вчера, – говорю я, собирая на стол чашки. – А то была такая хорошая погода... Я кормила уток в парке... – это я избавляю его от неизбежных профессионально-дипломатических уловок, по совокупности равноценных прямому вопросу «где шатались?» – Там у нас кто-то купается, представляешь? Наверное, хочет, чтобы хвост вырос.

– Разные есть люди, – снисходительно говорит Саша. – Странные есть люди...

Говорить, что была на пьянке, нельзя, а то последует лекция по поводу аморального и асоциального образа жизни (можно подумать, я вчера родилась и не знаю образа жизни представителей бизнеса разной степени крупности – но там ведь во имя высокой цели, а без целей нельзя... как при социализме). Ладно, думаю, тебе же хуже. Лосося я съем сама. И салат тоже.

Салат мне не достается. Проголодавшись после наших физических упражнений, он перед уходом смахивает все одним движением вилки, а я, проведив его, на трех пальчиках грациозно несу в комнату тарелку, ложусь, включаю телевизор, ем, и в душе у меня царит ликование, ликование, которое не портят никакие прозаические подробности наших не слишком чистых отношений. Не хватает мне только пива. И я, наверное, сейчас за ним пойду... Деньги теперь есть... Тут раздается телефонный звонок. Почему-то каждый раз, как у меня свидание, все вспоминают о моем существовании и начинают звонить, как ошпаренные. В другое время – помру, никто не заметит.

– Нинк, – говорит Ирка в трубку, когда я неохотно эту трубку снимаю. – К Наталье тут рыбки свежей привезли. Сказать, чтоб тебе отложила?

– Ага, – говорю я блаженно и облизываю палец.

– Когда зайдешь? Сегодня?

– Завтра, – говорю я. – У меня гости.

– Ну-ну. Ни пуха, солнце.

Она вешает трубку. Гости для нее святое, а иначе придется беседовать битый час о покупателях, о завбазой, о налоговой, о Ренатовых последних закидонах... лучше отложить прозу жизни на потом.

Не успеваю я перехватить тарелку, раздается звонок в дверь. Это серьезнее. От дверных звонков я не жду ничего хорошего. Бормоча проклятия и поправляя платье, я плетусь к двери. Там – Валентина Михайловна. С испуганным видом – если ее можно напугать – и общей дрожью от сознания важности момента.

– Нина! – говорит она торжественно, как юный Держинец на посту. – Нам что-то подложили! Пойдем, посмотришь. Может, это взрывчатка.

Я очень боюсь испортить отношения с соседями. Объединятся с участковым – отберут квартиру, защищать меня некому... Поэтому вместо того, чтобы послать ее ко всем чертям, я покорно, как пленный князь Игорь, иду за ней на пожарную лестницу, где одним пролетом ниже лежит мятый глушитель. Кто его сюда затащил и зачем – неизвестно. Даже не приходят в голову никакие варианты. И я так Валентине Михайловне и говорю, но она мне не верит.

– Подожди, нужно вызвать милицию, – говорит она. – Главное – ничего не трогать. Ты постой тут пока...

Тут мое терпение кончается, и я, как курица-несушка, закатываю глаза, томно прижимаю руку к голове и бормочу упадническим голосом:

– Ох, у меня сегодня такая мигрень, такая мигрень, давление, наверное, падает...

Не дожидаясь ответа, я резво, пока не схватили жесткой партийной рукой за часть тела, оставляю ее один на один с террористической угрозой.

Скрывшись в квартире, я сажусь на диван, обхватив руками колени, и меня начинает мелко колотить. Мне представляется, как эта мегера будет снова названивать в дверь, и во что выльется ее недовольство, когда мы с ней увидимся в следующий раз. Все было хорошо, у меня был мужчина, у меня есть девять тысяч, а тут сразу так испохабить... Нет в мире совершенства... И через какое-то время снова звонят. Я не открываю. Пусть думает, что хочет. Звонят снова. Нагло, бесцеремонно. Это не Валентина Михайловна – она, при всем стальном характере, звонит вежливо. А вот милиция может и так. Эта психованная наверняка донесла, что я дома... Лучше открыть. Черт меня дернул открыть в первый раз. Знаю же, что навещать меня некому... Я открываю. За дверью – никого. Звонок исходит из-за пределов холла, от лифта, и кто-то там маячит за дверью. Что-то цветное. Не милиция точно.

– Кто? – спрашиваю я неприветливо.

– Нинка! – кричат из-за двери. – Это я! Открой!

К утверждениям типа «это я» я вообще отношусь подозрительно, но тут трудно ошибиться. Вера, и костюм на просвет тот же, васильковый.

Я открываю дверь. У Веры на губах блуждающее послевкусие веселой улыбки, и в руках бутылка красного портвейна «Алушта».

– Нинк! – кричит она на весь дом, по крайней мере, мне так в ужасе кажется. – А я забыла, какой у тебя этаж. Хожу тут, слоняюсь по дому. С одним дедушкой игривым познакомилась...

– Пошли, пошли, не кричи, – говорю я и быстро затаскиваю ее в квартиру, пока не вылезли все соседи и не проверили, кто такой громкий ко мне явился.

Мы сидим на полу, на драных подушках, пьем массандровский портвейн из бабушкиных стаканов образца пятьдесят какого-то года и закусываем квашеной капустой. Ничего, жить можно. Завтра я пойду и куплю сыру, оливок, минтайской икры, селедки с можжевельником и копченых крылышек. Сегодня достаточно капусты. Вера уже несколько раз окунула в портвейн кисть платка, но этим обстоятельством не огорчается. Балкон открыт, можно смотреть на звезды, но звезд не видно, видно ничего вместо неба, бурое и мутное. Это ничего меняет только оттенок, и оттенки все такие похабные, что слов нету.

– Нинк, – говорит Вера, точно ее осенила глубокая мысль. – Купи себе телескоп.

– Угу, – говорю я, кивая. – Вот его-то мне и не хватало. Что в нем смотреть? Окна напротив?

– А что, – говорит Вера рассудительно. – Тоже интересно.

– Побьют, – говорю я тоскливо.

– За что? – спрашивает Вера.

– За все, – говорю я. – У нас за все бьют.

Мы выпиваем еще по полстакана и лезем пальцами в капусту.

– Я у них урод, – говорю я, продолжая ранее прерванную мысль. – Ничего не сделаешь. Ну я такая, что ж теперь... Не вышло из меня успешной личности. Если бы я с утра до ночи вытирала племянникам задницы... убирала, готовила... меня бы, может, простили. Не любили бы. И не уважали... Примирились бы, что урод приносит пользу. А сейчас я и пользы не приношу. Никому... Но и задницы вытирать не тянет, ей-богу...

– А ты их того... шевели, – советует Вера. – Они привыкли, что ты какая-то смиренная. Они от тебя должны быть в тонусе!

– Они от меня достаточно были в тонусе, – говорю я и устало машу рукой. – Они уж устали быть от меня в тонусе.

– Ну вот, и расслабились. Вот посмотри... – она, широко потянувшись, протягивает руку к трубке. – У ваших какой телефон? – она смеется, точно вспомнила что-то забавное. – Ты знаешь, я ведь школьные телефоны так хорошо помню, пятнадцать лет не звонила, а все равно как вчера... А твой забыла.

Я подсакиваю на месте. На подушке.

– Ты чего? – говорю я недоуменно. – Ты чего хочешь делать?

– Как чего. Маме твоей позвоню, – Вера подтягивает телефон за провод, рискуя оборвать его совсем. – Она все-таки тебе мать или не мать?

У меня от стремительности событий дыхание перехватывает.

– Не надо! – кричу я, глотая воздух. – Ты что? – но Вера уже вспоминает номер и, решительно прицелившись, засовывает палец в диск. – Заткнись, – говорит она, отмахиваясь от меня кистями, с которых капает портвейн. – Не мельтеши.

Я замолкаю, и сердце колотится от волнения. Я боюсь, и мне безумно интересно, что она скажет. В Вериной легкости мнится что-то чудодейственное, что может одним махом разрушить все преграды и переключить в моей семье невидимый тумблер с минуса на плюс.

– Анна Тимофеевна? – спрашивает она вредным вибрирующим голосом. – Анна Тимофеевна, это Вера Зотова, здравствуйте, если вы помните, да... О, замечательно... да... Я? Я у Нины сейчас. Вы не могли бы подойти, Анна Тимофеевна, она себя что-то плохо чувствует... Нет, не может, нехорошо ей, да... Спасибо, Анна Тимофеевна.

Она преспокойно кладет трубку, довольно облизывается и восклицает:

– Помню же! И как маму твою зовут, помню.

Я тем временем в ужасе подбираю упавшую челюсть.

– Да ты что... – говорю я пораженно. – Ошалела совсем? Ты ж так до инфаркта человека доведешь.

– Ну извини, – говорит Вера, пожимая плечами. – Я могу что-то путать... но по-моему, до инфаркта твоим далеко. Ну не от твоего здоровья они его схватят...

Я в панике вскакиваю на ноги и пытаюсь броситься на все четыре стороны одновременно – и потому остаюсь на месте.

– И что? – кричу я. – Она сейчас придет?

Вера только хмыкает.

– Придет, конечно, – заявляет она уверенно.

– И что? Что я ей скажу? Что мы пошутили? Что я здорова, как лошадь? Это помощь твоя такая?..

Веру не проймешь. Она словно меня не слышит.

– Да не бегай! – командует она легкомысленно. – Ляг и глаза заведи. И вздыхай тяжело. Учи ее. Как маленькая, ей-богу.

На лице у нее крупными буквами – снисходительное удивление моей наивности. Я так и читаю этот приговор на веки вечные. Но я-то знаю маму. Ее не обманешь.

Я бросаюсь на кухню. Там в картонной коробке, на полочке – остатки бабушкиных лекарств. Надо что-нибудь хлебнуть, чтоб малость поплохело. Вот сердечные, подходит... При таком запахе волей-неволей поверишь в неприятности... Валокордин... я трясую пузырек в рот и брызгаю несколько капель на платье. Вера возникает в дверном проеме, скептически наблюдает за мной и роняет:

– Ну-ну. Королева котов будешь. Сто лет не отмоешься.

– Ничего... – бормочу я. – Все в наших руках... – я кидаю в рот нитроглицерин. – Главное, чтобы было убедительно...

Я поворачиваюсь к Вере, внутри начинает что-то биться, кровь подкатывает к голове, и все пропадает. У меня закрыты глаза, и мне чудится, что надо мной кто-то стоит. Кажется, у него много глаз... шесть. Хотя я не вижу, я уверена. Чей-то голос говорит:

– Ожерелье приберите... за диван упало.

Я поднимаю руку к шее, на законное место гладких бабушкиных бус. Бус на месте нет, я лежу, но глаз открыть по-прежнему не могу.

– Где они... – говорю я, но язык не слушается. Кажется, мне плохо. Теперь я точно чувствую, что мне плохо. Я все-таки открываю глаза. По комнате разлит прожекторный свет, я лежу на диване в одних трусах, прикрытая пледом, Вера, озабоченно закусив губу, держит нитку свисающих из кулака красных, словно кровь, шариков, за столом, перекосив плечо, что-то пишет неизвестная женщина в натянутом халате, а на табуретке в изножии блестит пустая ампула.

– Дай... – говорю я и протягиваю руку.

– Да подожди ты! – отмахивается Вера и продолжает жевать блестящую губу. Но потом вкладывает бусы мне в руку. Я сжимаю нагретые Вериним теплом стекляшки. Мне так спокойнее.

– В аптеку ходите, – устало говорит женщина, отодвигая на угол стола клочок бумаги и оборачивая ко мне лицо запыленного, из похода, пехотинца. – Ну что? Как себя чувствуете?

– Лучше всех, – говорю я, еле ворочая языком.

Женщина равнодушно кивает. Видно, что ее не тянет в подробности.

– До свиданья, поправляйтесь, – громко, дабы правильно расслышали, говорит она, встает и, гремя пластмассовым чемоданом, как пенсионер пустыми бутылками, исчезает. Вера бежит следом. Дверь хлопает. Я остаюсь на несколько секунд одна, и мне страшно. Пахнет валокордином – не пойму теперь, откуда. Я кутаюсь в плед, и меня раздражает, что он колется.

Потом возвращается Вера. Она, не глядя на меня, садится на диван, качнув кистями, складывает крылышки под шалью и, как-то печально наклонив голову, наблюдает под столом горизонт, словно он там есть.

– Свет погаси, – говорю я, натыкаясь на мешающие зубы. У меня уже лучше получается. Вера встает и хлопает ладонью по рубильнику.

– Дура, – говорит она грустно. Потом нашаривает наощупь мою руку и слабо сжимает ее. – И чего ты добилась?

– А мама? – говорю я тревожно. – Мама приходила?

Вера качает головой.

– Нет, – говорит она.

Мы обе молчим. Я ежусь. Колкая пледовая ткань раздражает, не принося тепла.

– Есть у каждого бродяги сундучок воспоминаний... – глубокомысленно выговариваю я со вздохом, все еще борясь с зубами. Коли уж плохо, могу позволить себе пофилософствовать...

– Тебе чаю приготовить? – спрашивает Вера.

– Горячего, – говорю я мечтательно. Сто лет мне не готовили.

Вера уходит на кухню, а я лежу, и ни о чем не думаю. Как будто голову заморозили. Тяжесть постепенно уходит. Появляется Вера с любимой моей Дулевской чашкой.

– Что это было? – спрашиваю я.

– Идиотизм, – лаконично отвечает Вера, пряча глаза. – И я тоже идиотка...

Неумелый жидкий чай пьется, как амброзия. Я чувствую себя, в общем, прилично. Слабо, но вменяемо. Физическое состояние в сравнение не идет с моральным тяжелокирпичным ощущением преступления. Перед собой. Знаю же, идиотка, что не могу позволить роскошь болезни...

– Извини, – говорю я.

– Бог простит, – отвечает Вера.

Безмолвная Верина близость пугающе надвигается на меня. Вера мне ближе всех родных... Может, от немоги... Хорошо, что мама не пришла. Что бы она увидела – что опять ее дочь попала в дурацкую историю?

– Хочешь, я тебе стихи почитаю? – спрашивает Вера тихонько. – Хочешь, Бродского?

– Угу, – говорю я лирически, снова вздохнув. – Под него вешаться хорошо. В самый раз. Вера фыркает.

– На тебя не угодишь, – говорит она.

Я тоже смеюсь. Что ж теперь, рыдать, что ли? Вера приносит себе чашку, рассеянно ставит на драный пол, и мы вместе пьем чай. Вечереет. В сизом небе повисает, как отсвет полярного сияния, отражение невидимых электрических россыпей.

– Тебе надо работу найти, – говорит Вера, встрепенувшись, как цветастая жар-птица, от задумчивости. – А то скиснешь. Чего дома сидеть и ждать милости от природы? На работе

все-таки возможности... общение... адреналин какой-то. И ты себя уважать будешь, и они к тебе сразу проникнутся.

– Работа это хорошо, – соглашаюсь я. – Только меня кроме как уборщицей не возьмут. Я делать ничего не умею... Знаю кучу формул... умею варить щи... носки вязать на четырех спицах... все, пожалуй. Или продавщицей. Всякий труд, конечно, почетен, но вступать в корпоративный цех продавщиц мне что-то не хочется. И стимула морального нет. Государству служить нет смысла за неимением такового, а рвать жилы на чужого дядю, чтоб он виллы на Канарах покупал...

Я лукавлю. Конечно, я бы пошла работать. Даже на дядю, чтоб ему лепной потолок Канарской виллы на плешь свалился.. Но есть подсознательное убеждение, что меня никто не возьмет. Не берут же Саша с Георгием Александровичем. Они уверены, что лучше платить девять тысяч, чем подпускать меня к производственному процессу. Я-то знаю... И продавцом быть не хочется. Есть в этой профессии что-то садо-мазохическое. Отличное от сексуальной нормы. Если судить по нашему Седьмому континенту, то когда он был универсамом номер три, там хамили продавцы, а теперь хамят покупатели, причем хамят так, что нос сунуть боязно, обязательно наедет какой-нибудь кретин с тележкой, ликующий от того, что жизнь удалась. Наверное, контингент строго поменялся местами... Я не любитель извращений, и первому, кто квакнет, размажу по морде или волшебный йогурт со всеми витаминами и кусочками натуральных фруктов или какой другой божественный продукт, так что лучше не пытаться...

Вера задумывается.

– Да, у моего мужа все одни халдейки такие... – произносит она прочувствовано, голосом эксперта, нажившего опыт не в кабинете, а в тяжелых полевых условиях. – Слушай, а давай мы Мишку Горячева попросим? Он теперь большой человек.

– Нда? – спрашиваю я вяло, разглядывая круговое вращение чайнок. – И чем он большой? Что отросло у него?

Мишка – наш бывший одноклассник. Сонный парень с вечно невытой головой. По крайней мере, я его таким помню.

– Ну! Мишка-то! – говорит Вера. – Он сейчас, знаешь, куртки шьет. У него целая фабрика. Во Вьетнаме. Джинсы тоже...

– От Версаче? – говорю я, представляя унылый текстильный склад. – Я думала, их в Малаховке шьют.

– В Малаховке невыгодно, дороже... себестоимость, – говорит Вера авторитетно и облизывает ложку. – Энергоемкое производство в Малаховке. Помещение снимать, освещать, топить... А во Вьетнаме машинку под пальму поставил – и больше ничего не надо. Круглый год. И взятки меньше.

– А.. – говорю я с легкой оторопью от азиатской перспективы. – Но я во Вьетнам как-то... Да и диоксином их травили... будет морда, как у украинского президента. И шить я не умею.

– Зачем во Вьетнам? – спрашивает Вера рассудительно. – Там тамошние... черные люди работают. А здесь у него и сбыт, и таможня, и дилеры всякие, или кто там еще... Давай к Мишке сходим. Он же тебя помнит. Я у мужа еще спрошу, но у него у всех знакомых, как назло – либо палатка, либо автосервис... либо диспетчеры на телефонах нужны.

Она вытягивает эпилированные, в мелких ссадинах, ноги и поглаживает колено.

– Мишка, – говорю я тупо. – Ну Мишка так Мишка. А он где?

– Да здесь же, – говорит Вера. – У него офис в общеаге. Надо узнать, он сам в Москве или по миру бегаёт...

Мишка. Я судорожно вспоминаю. Может, шарахаясь от прохожих, я его видела когда-нибудь? Может, я его не узнаю? Или он лысый, и ему уже мыть-то нечего – на голове, во всяком случае?

– Ну! Что ты. Он крутой такой, – говорит Вера и весело смеется неведомым воспоминаниям. – Круче только яйца, выше только звезды... Пузо – во, пальцы веером... секретарш завел штук пять. Пойдешь к нему секретаршей? – она пихает меня в бок.

– Нужна я ему, – говорю я. – Стара я секретаршей. Вон во всех объявлениях: до двадцати восьми лет.

– Ладно прибедняться, – говорит Вера и безапелляционно, как учительница русского, добавляет: – Твой любовник тебя совсем подавил. Он энергетический вампир. У тебя вон, смотри, уже комплекс неполноценности.

– У меня он по жизни, – говорю я. – При чем тут любовник.

Вера что-то поднимает с пола. Это бантик, которым я, оригинальничая, прихватываю волосы. Она расправляет его на ладони, как коллекционную бабочку, и зачем-то дует. Потом гладит меня по каменной голове.

– Эх ты Нинка, Нинка, – говорит она.

Когда она уходит, мне существенно лучше. Вечер. Вместо соловьев долетают резиновая гарь от подожженного мусорного бака и уличный шум. Я включаю телевизор с новостями. Плавающий на экране дикторшин призрак, делая умное лицо, сообщает, что жителям штата Мериленд явился поросенок-мутант. Я мучительно соображаю, пришла ли я в себя, и, если не галлюцинирую наяву, что за штат Мериленд, на какой планете расположен, и что нам с аудиторией за дело до тамошних поросят. Можно залезть в Интернет, но новости, помимо кривого отражения земных медиа, и там ковырять по крупичкам, да и дорого... Лучше сэкономить... Оставаясь в неведении относительно мировых событий, я выключаю телевизор. Пора спать. Я устала.

Телефон молчит. Никого из родных не волнует, что со мной. Может, Вера перепутала телефон? Может, она позвонила не туда?

Утро. Надо что-то делать. Надо убирать квартиру, но не хочется. Я не люблю свою квартиру. Убирать ее – безнадежное дело. В квартире не было ремонта с момента сдачи госкомиссии тридцать лет назад. У бабушки не было денег. У меня тоже. В результате я обитаю в совковом безобразии, прошедшем тридцатилетний срок износа. Стены кривые, окна раздолбаные, двери и плинтусы неровные, и в неровностях забились грязь, которую не отмыть. Ленолеум на кухне страшен как третья мировая, плитка в ванной держится на честном слове, потолок в потеках, краны не держат воду. Мебели лет пятьдесят. Дверцы шкафа скрипят так, что слышно через два этажа. Причем скрипят не петли, а разохшиеся доски, так что заливать масло бесполезно. Бомжатник. Конечно, нормальному человеку приходит сюда не хочется, он сюда носа не сунет, нормальный человек...

Хлеб я держу в холодильнике. Потому что в квартире живут какие-то невыводимые мелкие мошки. Это бабушкино наследство – она хранила запасы крупы со времен карибского кризиса. Я выкинула все, кроме мыла. Этот привет от советской власти – в ящике на балконе. Еще я выкинула тряпки, вообще весь хлам. Остались только две вязаные салфеточки – их положено крахмалить, но я не умею – и фарфоровый юный пограничник, обнимающий собаку. И несколько бабушкиных книг – «Фрегат «Паллада», пьесы Островского, том Есенина, «Детские годы Багрова-внука». Интуитивным крестьянским чутьем бабушка предпочитала классику. Наследство от мужа – старый компьютер, который он намеревался выкинуть, наладонник, который я вовремя засунула в сумку, утаив от бдительного глаза, и древний мобильный телефон величиной с кирпич. Наладонник – это моя библиотека. Когда я буду богатой, я куплю уйму книг, куплю большую квартиру, в которой их можно разместить, буду сидеть и листать репродукции в художественных альбомах. И никуда не ходить. Только я не буду богатой.

Наладонник – это суррогат. Аналог резиновой женщины. Я время от времени мечтаю взять в руки книгу, провести пальцами по бумаге и вдохнуть запах типографской краски

и клея. А пока приходится в очередной раз запитывать от сети это чертово устройство. Запитывать с риском для жизни. Розетки у меня тоже никуда не годятся, от одной идет по обоям горелый черный след. Пользоваться ею страшно, но деваться некуда.

Я грызу горбушку, макаю ее в кислый хрен, и пытаюсь вспомнить, нравилась я Мишке или нет. Не помню. Вечно я не помню самого главного. Вообще из школы я вынесла что-то не то. Законы Кеплера зачем-то до сих пор помню (и кто это придумал учить?) ... А серьезные вещи, от которых подчас зависит судьба, вылетают из головы бесследно... Наверное, я в самом деле урод.

Звонит телефон. Это Вера меня инспектирует.

– Ну? – спрашивает она строго. – Как дела?

В кои то веки кого-то интересуют мои дела. Так и тянет получить удовольствие.

– Друг мой, друг мой, – всхлипываю я. – Я очень и очень болен... Сам не знаю...

– Что, тебе плохо? – спрашивает Вера испуганно.

– Нет, – говорю я довольно. – Просто я еще не протрезвела.

– Тогда все в порядке, – говорит Вера, облегченно выдохнув.

Потом я прихорашиваюсь. Одеваться я вообще-то люблю меньше, чем раздеваться. Во-первых, нет высокой цели, во-вторых, не во что. Все лето я хожу в любимом сером платье, с ниткой копеечных бус. Волосы у меня пышные, я их распускаю на уши, и кончики прихватываю маленьким красным бантиком. Моя в деревне воспитанная бабушка считала, что распущенные волосы прилично носить только в постели. Но себе и этого не позволяла.

На улице я встречаюсь с Верой, и издали, из-за боярышниковой колючей заросли на радость детям, получаю ее неодобрительный взгляд.

– У тебя нет ничего менее сиротского? – спрашивает она скептически.

– Что ты понимаешь, – отвечаю я небрежно (где ее учили быть тактичной?) – Когда-то это было хорошее дорогое платье.

– Очень давно. Хотя... – она вздыхает, исчерпывая литературные рамки возможной дискуссии. – А на лице? Это что за стрелы вместо глаз? Мягче надо... плавнее.

– Я с детства не любил овал, – мрачно говорю я. Буду я еще подлаживаться под какого-то Мишку. – Я с детства угол рисовал.

– Оно и видно, – говорит Вера.

Сама она так и светится – розовая кожа, чуть подправленное лицо, яркий костюм. Первый раз вижу, чтоб кому-то шел пронзительный васильковый цвет. Она натуральная блондинка, а сейчас обесцвечена в платину. Я рядом с ней – гадкий утенок. Но какой уж есть.

Мы идем по кварталу, и нам весело. Вера рассказывает о муже, о любовниках до мужа, о любовниках при муже, и я понимаю, что живется ему не скучно. Впрочем, он бизнесмен – ему не до пустяков. Правильный цельный человек. Мой второй муж вечно к каким-то мелочам цеплялся, все от отсутствия больших жизненных задач и социально зрелых критериев... Мы проходим мимо детской площадки, на которой неизвестный (мне) с аппаратом тридцать лет назад сфотографировал нас с мамой. Черно-белый снимок, я стою, надувшись, и гляжу исподлобья, а Ленка ковыряется в песочнице, и виден только холмик вечной детской шапочки. Мама получилась очень эффектно... А вместо магазина железных дверей был ремонт обуви, и пахло резиновым клеем... И жуткие очереди, которые я ненавидела. Очереди были везде, но здесь почему-то особенно.

Еще был магазин тканей, куда мама иногда заходила – с нами на поводке. Я до сих пор помню свой детский шок от впервые увиденного отражения в полноразмерном зеркале. Сколько мне было? Два года? Или меньше? Ходить я тогда умела...

Наконец мы подходим к общежитию с вывесками и транспарантами по всему зданию, как на первомайской демонстрации. Самого общежития давно нет (быть может, пара комнат). В холле индусы торгуют жемчугом и ониксовыми вазами, с банкетов вдоль стены злобными

глазами пялятся клиенты нотариальной конторы, тихо дремлет девочка над образцами паркета, в углу груды коробок с пылесосами. Я вспоминаю, что мой пылесос уже дышит на ладан, но Вера тащит меня в коридор, явно знакомым путем, за мощную, до потолка дверь без опознавательных знаков.

Я готовлюсь увидеть пять голоногих секретарш, но за дверью одна, лет под сорок, поднимает на нас беспокойные и странно веселые глаза. В нормальном рабочем процессе нет места такой подозрительной веселости... Когда она опознает Веру, еще более оживляется. Мне становится не по себе – уж не наркотики ли здесь фасуют. Куртки куртками, а одно другому не мешает... Секретарша подпрыгивает на месте и восторженно восклицает:

– Ой, Верунчик! Летит! Улетает! Только что билеты принесли.

При этом она часто-часто переводит взгляд с Веры на меня и обратно. Кажется, она и сама сейчас улетит. Нет впечатления, что она вообще обременяет себя подчинением каким-то законам, тем более гравитации.

– Одни заботы! – соглашается Вера равнодушно-сочувственно, но не тормозит движение по приемной.

– И не говори, Верунчик, и не говори, – причитает секретарша уже нам вслед.

Мы врываемся в кабинет. Здесь кондиционированно холодно, и из-за полированного стола взмывает мгновенно узнаваемый Мишка. Он действительно пузатый, не лысый, и волосы такие ж, словно он месяц в геологической экспедиции сидел над костром и ни разу не мылся. Вид, правда, уже не сонный, к тридцати годам проснулся – улыбка от уха до уха, и кривые зубы блестят. Понятно, что Вьетнам – не Европа, на зубы, как в конюшне, не смотрят, визитами к стоматологу можно не утруждаться...

– Девчонки! – говорит он, разводя руками. Полы пиджака у него расходятся, как у летучей мыши. Он подходит ближе, и я чувствую шипроподобные духи. Борт простеган вручную. Пижон. Мой бывший муж тоже любил простеганные вручную пиджаки. Я имею в виду, второй муж.

– Мишаня! – говорит Вера с претензией. – Что за дела? Мы пришли хорошо провести время, а ты...

– Девчонки! – повторяет Мишаня. – Мы коньячку сейчас, и я в дорогу. Ну что делать, без меня ничего не могут... Здорово, зайка, – он обнимает меня. – Ишь какая ты, ишь какая!

Он разливает по стаканчикам с московским гербом коньяк и грозит мне пальцем.

– А я тебя вижу иногда, вижу. Гордая! Ходит, не замечает...

– Тебя ж не узнать, – отвечаю я. – Похорошел как кинозвезда.

Мы выпиваем по рюмке. Какой он деловой человек! У него и лимона-то нет. Даже Ренат, отягченный десятками поколений непьющих предков, всегда держит в ящичке лимон. Хотя коньяк у Мишки хороший... Я замечаю, что после первой же рюмки его глаза заволакивает.

– Летать, – говорит он. – Брр... Боюсь я летать, девчонки. Самолеты – хлам. Один раз попал, шасси не вышло. Думал, не залезу никогда больше в этот гроб... Давайте еще по одной. Трезвым не полечу... Они уже в воздухе еле держатся. Ресурс на пределе... Скоро посыплются оттуда один за другим, только знай разбегайся...

Приходится выпивать еще по одной.

– Не век же им летать... – бормочет Мишка. – Когда-нибудь кончится, обломаются крылышки-то...

Ясно, что ему не до моих проблем. Вера пытается несколько раз вернуть его к теме работы, но Мишка упорно, словно на пути к далекой цели, опрокидывает пятую, и мысли его в воздухе, выше птиц и облаков. Словами его на землю не вернуть... Я жду, когда он поставит бутылку, забираю его руку, подношу к губам кисть величиной с хорошую гантелю и медленно и протяжно целую. Мишка обалдело просыпается, и даже Вера от таких выкрутасов округляет глаза. Потом я отпускаю его руку и берусь за рюмку, как будто ничего не произошло.

– Спокойно, дружище, спокойно, – говорю я ошалевшему Мишке, похлопывая его по плечу. – Мы еще увидим небо в алмазах.

И делаю умную физиономию, словно сама понимаю, что говорю.

Мишка медленно, как локатор, оборачивается в мою сторону. Видно, что он мучительно пытается скорректировать себя в реальности. Припомнив число гербовых стаканов и вычислив коэффициент, он неуверенно тыкает в меня пальцем.

– Я позвоню, – говорит он, кивая. – Я знаю, куда позвоню. Они у меня все вот где... – он подносит к моему лицу кулак, словно напрашивается на другой поцелуй. Любит он, видать, когда ему кулаки целуют... – Девчонки... Пожелайте мне ни пуха ни пера.

Рюмки после десятой появляется секретарша, вопросительно заглядывает своему шефу в глаза и, получив какой-то нужный сигнал, крепко, как удав, обнимает его за талию и привычно ведет к выходу. Мишка к тому времени переходит с литературного на ненормативный и вполголоса бормочет какие-то служебные указания.

– Ты – чудо, – говорит мне Вера, покачиваясь в мою сторону и дыша коньяком. – Ты просто чудо.

– В перьях, – соглашаюсь я, тоскливо провожая Мишкину звездную от перхоти спину.

– Почему в перьях? – спрашивает Вера.

– Потому что так говорят.

– А.

Мне как-то нехорошо. Причем я не пойму: то ли вообще, то ли после вчерашнего. Нужно идти домой, сварить жирный борщ и слопать две тарелки как минимум. Сил только нет варить. Коньяк был лишний... и Мишка лишний... все лишнее.

Капуста жестковата, но мы набрасываемся на борщ, как питомцы провинциального зоопарка на объедки. Заметно лучшеет. Природа вокруг как-то гармоничнее... Вера заливисто хохочет.

– Ну ты его удивила! – ну ты его прямо по-ра-зила! – она снова закатывается. – Надо было еще... – и она фантазирует, что надо было сделать, нечто такое, от чего краснеет, приближаясь к ценным породам дерева, даже мой дровяной шкаф. – Надо было еще нам двоим договориться, и с двух сторон... Ой, уморила!

– Это был экспромт, – оправдываюсь я. – По ситуации. Человек спал. Надо же было его разбудить. Может, ему теперь и в самолете не так страшно...

– Нет, здорово! Здорово! – кричит Вера. – Теперь он уж точно тебя не забудет.

Раздается звонок в дверь. Мы замолкаем. Когда я открываю, откуда-то чуть не валится Валентина Михайловна, которая всем телом норовит оттеснить меня от дверного проема, чтобы заглянуть в квартиру.

– Нина, – говорит она с лицемерным испугом, напирая на меня своими формами. – Что такое, кому-то плохо? У вас такие звуки...

Так я и поверила. Когда действительно плохо, тебя не дозовешься... В переводе это тонкий намек на то, что мы ей мешаем – заодно со следовательским интересом.

Тут раздается сиплый приглушенный голос у меня за спиной.

– Товарищ! Заходи, товарищ!

Я оборачиваюсь. Вера подмигивает одним глазом и приглашающе гребет руками, как пловец, лишенный бассейна. Валентина Михайловна, воспользовавшись моим недоумением, вторгается в прихожую.

– Товарищ! – сипит Вера. – Дай денег на подпольную типографию!

Валентина Михайловна, сделав поворот в воздухе на сто восемьдесят градусов, вылетает как ошпаренная. Я виновато бормочу ей вслед:

– Извините, она так предана нашему делу, так предана...

Оставшись вдвоем, мы валимся на диван и хохочем минут пять. Потом громко и довольно поем «Вихри враждебные веют над нами». Процесс увлекает – сто лет я среди этих ревнителей общественного порядка не пела во весь голос. Напоследок исполнив «Последний матрос Севастополь покинул» мы достаем карты и играем в подкидного. Проигравший кукарекает. Не знаю, как трактует Валентина Михайловна эти звуки. Боюсь даже вообразить... Кукарекать надоедает тоже, мы затихаем и лениво перебрасываемся картами просто так. Звонит телефон. Я сквозь зубы говорю «Алло», ожидая, что это еще кто-нибудь, недовольный фонограммой. В трубке слышен музыкальный грохот типа «бенц-бенц», пьяный смех, и нетвердый мужской голос хрипит:

– Девчонки! Привет! А мы к вам сейчас придем...

У меня аж сердце обрывается с перепугу. Не хватало только пьяной компании. Абсолютно незнакомой к тому же. Этот голос я не идентифицирую.

– Кто мы? – спрашиваю я. – И сколько вас?

– Мы в тридцать втором. Мы сейчас придем, девчонки...

Я ничего не понимаю.

– Вы куда звоните? – спрашиваю я обалдело.

– Как куда? В двадцать пятый. Девчонки, не притворяйтесь...

– Вы ошиблись, – говорю я с облегчением и вешаю трубку. Общага. Или гостиница какая-нибудь для гастарбайтеров. Телефонную станцию на Митинском рынке купили краденую, а программировал сантехник – другого технического работника не нашлось...

Не успеваю я отойти, телефон звонит опять.

– Девчонки, – вкрадчиво говорит тот же голос. – Мы сейчас все равно придем.

– Да ошиблись! – говорю я сердито.

– Не притворяйтесь, девчонки. У нас есть шампанское. И дыня. Медовая дыня, узбекская... Лично выбрали на Алайском базаре...

– С нитратами? – спрашиваю я из одного любопытства.

– Какие нитраты! Чис-тей-ший экологический продукт...

– Ну ладно, приходите, – соглашаюсь я и добавляю строго. – Только чтоб все были мытые и в чистых рубашках. Знаю я...

– Девчонки... Обижаете... Мы сейчас...

Я вешаю трубку. Интересно, куда они придут, и кто их там встретит.

– Что с нитратами? – с интересом спрашивает Вера. – Кто чистый?

Не успеваю я объяснить ситуацию, как телефон звонит в третий раз. Неужели уже пришли? Быстрые, нейметса, видать...

– О господи, – говорю я в трубку. – Ну что непонятно?

– Непонятно-то чего? – спрашивает Ирка, не удивляясь ни секунды. – Когда за рыбкай придешь?

– Сегодня, – говорю я, подумав. – Ир, когда узбекским дыням сезон?

– Летом, – говорит Ирка, опять без промедления. Хорошо человеку, у которого есть ответы на все вопросы.

– Это я без тебя знаю, – говорю я.

– Что опять предлагают? – спрашивает Вера, когда я кладу трубку.

– На этот раз камбалу, – отвечаю я. – Хочешь жареной камбалы?

– Хочу! – кричит Вера.

Снарядившись, мы идем в поход за камбалой. Ирка смотрит на наши физиономии цвета бампера у электрички весьма скептически.

– Да, тетки, – говорит она. – Глядеть на вас – аж душа радуется.

Потом мы возвращаемся, жарим камбалу, едим, запиваем остатками портвейна, в общем, блаженствуем.

– Не вздумай идти ни в какую госконтору, – убеждает меня Вера. – Ты себе не представляешь, какие там извращенцы. Там ж ни одного нормального человека не осталось. Все, кто что-то мог, давно разбежались. Там одни нелюди... Я тебе скажу точно, с бандитами иметь дело куда проще. Конструктивнее...

Я киваю головой. Я и не собираюсь идти в госконтору. Я никуда еще не собралась. Но лучше иметь девять тысяч в месяц и ничего не делать, чем иметь меньше и работать. Меньше – потому что, думаю, Георгий Александрович немедленно отменит мое пособие, как только узнает, что я пристроена. За что ж платить-то – это Саше неудобно будет... приезжать вечером придется... да еще я буду усталая... нет, некачественные услуги солидные бизнесмены не оплачивают.

Когда от камбалы остаются одни кости, уже вечер и темнеет, Вера уходит. Я заворачиваю в бесплатную газету рыбные остатки и выхожу к мусоропроводу. На лестничной клетке обнаруживается, что еще не рассеялся сизый дым от моей готовки, и запах тоже соответствующий. Можно уверенно ждать, что кто-нибудь припрется с претензией, к гадалке не ходи. Я распахиваю дверь на пожарную лестницу, но на улице тихо, ветра нет, и проветрится, судя по всему, нескоро.

Я осторожно, стараясь не хлопать дверями и не греметь замком, возвращаюсь в квартиру, но в квартире не сидится. Каждую секунду я жду визита, который испортит мне настроение на весь оставшийся вечер. Проклиная свою трусливую натуру, я беру ключи, подумав, беру свой мобильный телефон (вдруг позвонит Мишка? Или Вера по его просьбе? Нельзя рисковать важными вещами) и сбегая на пожарную лестницу. По моим расчетам, проветриться должно минут за пятнадцать, поэтому лишний раз проходить мимо подъездных церберов нет смысла.

Внизу какие-то звуки. Может, курят? Голоса, похоже, молодые и веселые. Вряд ли такие предъявят счет за некорректное поведение, но нарушать чужой праздник своим присутствием не хочется. Тем более, там женщины. Или девчонки. Голоса высокие, непуганые и недоразвитые. Сделав мизантропический вывод, я останавливаюсь этажа на два повыше прогнозируемого эпицентра веселья, расстилаю на ступеньке обрывок газеты, сажусь и смотрю сквозь решетку на улицу. День погас, небо еще умеренно светлое, но скоро почернеет. Курят... С курением у нас в доме тоже проблемы. На доске объявлений сейчас висит объявление авторства местных активистов: «Товарищи жильцы! Просим вас не курить в туалетах! Этот запах поступает в вентиляцию, и его нюхают другие люди!» Какой еще запах из туалетов нюхают другие люди, и чего там еще не следует делать, основываясь на этой посылке, можно описывать бесконечно. Просто бездна вариантов... Так что курящим я не завидую...

Кто-то топает, негромко бормоча. Я не успеваю подняться, когда в лестничном пролете, пошатываясь и держась за стенку, появляется мужчина. Упирается в меня глазами и смотрит, сперва наводя на резкость, а потом недоуменно и несколько испуганно. Не может вспомнить, кто я такая, и откуда взялась. Что я не из его компании, не приходит ему в голову. Я тоже приглядываюсь недоверчиво, но потом узнаю – это давешний битый страдалец с расколотой фарой. Синяя иномарка, не помню, какая именно.

Мы глядим друг на друга в упор и молчим. Встречаясь глазами, понимаешь сразу возможный уровень энергообмена. Я чувствую, как раскаленно краснеет натянутая между нами ниточка. Возможно, по причине нетрезвости сторон... Мы не сказали ни слова, но между нами какой-то бессловесный контакт. Я не чувствую неловкости от глаз, наведенных в упор. Наконец, что-то мелькает в его взгляде, и он меня узнает.

– О, – говорит он флегматично. – Какие люди.

– А какие? – спрашиваю я.

Вопрос приводит его в замешательство. Он брякнул что-то для проформы, и теперь приходится расшифровывать.

– Вы-да-ющиеся, – наконец выдавливает он.

– Чем же? – не отстаю я.

– Откуда я знаю, – говорит он. – Всякий человек чем-нибудь да выдается.

Вывернулся. Он прислоняется спиной к стене и вытаскивает из нагрудного кармана сигаретную пачку. Наклонив голову, закуривает. Потом обескураженно машет зажигалкой, обнаружив, что даме ее не к чему подносить.

– Ты куришь? – спрашивает он, не до конца доверяя своим глазам.

– Нет, – говорю я.

Он снова безуспешно силится разобраться в ситуации.

– А что ж ты тут делаешь? – спрашивает он.

– Гуляю, – отвечаю я.

– Гуляешь?

– Ну да.

Я пожимаю плечами. Почему бы мне здесь не гулять? Он кивает и затягивается.

– Давно гуляешь? – спрашивает он.

– Не очень, – говорю я. – Как машина?

– Какая машина? А, – он вспоминает, о чем идет речь. – Ничего. В выходные на сервис отдам...

– Злоумышленника нашли? – спрашиваю я тоном заговорщика. Он не догоняет.

– Что?

– Говорю, злоумышленника обнаружили?

– О господи... – произносит он медленно. – Дешевле просто починить... Сам виноват. Не надо было ставить на проходе. Конечно, свинство... но где тут кого найдешь? Это весь квартал, кто пожелает в свидетели, надо водкой поить? Да и наврут большей частью...

– Здоровое рассуждение, – соглашаюсь я. – Для нашего дома даже немного нетипичное.

Я говорю и сразу жалею о том, что сказала. Может статься, это сын или внук какой-либо наиболее рьяной психопатки. Обидится...

Он приглядывается ко мне внимательней.

– Тебе не холодно так сидеть? – спрашивает он. Жена циститом страдает, иначе бы в голову не пришло...

– Я на газете, – говорю я.

Он медленно выпускает дым в воздух.

– Первый раз слышу, – произносит он глубокомысленно. – Чтобы газету использовали как утеплитель...

– Странно, – говорю я. – А ты никогда газету под стельки не подкладывал?

Он неожиданности он начинает кашлять.

– Что-что? – говорит он. – Газету куда? Под стельки?

Он думает, что я шучу.

– Ну да, – говорю я. – Народная хитрость. Теплее становится. Очень выручает зимой.

– Народная хитрость... – он покачивает головой. – И много ты таких хитростей знаешь?

– Достаточно, – говорю я. – Мне много чего приходилось делать. Например, колготки гладить утюгом, чтобы не рвались. Или в красный лак для ногтей добавлять зеленку, чтобы лак был дефицитного коричневого цвета. Или подкладывать газету под стельки... Ты не в курсе?

Он насмешливо фыркает.

– Нет. Бог миловал.

– Странно, – говорю я. – Ты не советский человек. Может, ты засланный? Может, у тебя информация в плавках?

Он снова давится сигаретой.

– Я, кажется, плохо соображаю, – произносит он, удивленно удерживая меня в фокусе.

Я смеюсь. Я накануне смотрела «Пассажир с «Экватора», а такая культурная продукция плохо сочетается с алкоголем. Он смеется тоже.

– Слишком много выпил, – говорит он, продолжая смеяться. – Реакция медленная.

– Бывает, – говорю я.

– Пойдем к нам, – говорит он внезапно. Только этого мне не хватало. Еще не прошел Мишкин коньяк с наложенными остатками портвейна. Или у него тоже дыни с Алайского базара?..

– В другой раз, – говорю я.

– Пойдем, – повторяет он.

Я отрицательно качаю головой.

– Твоя девушка приревнует, – говорю я.

Он наклоняется ко мне.

– Я тебе честно скажу, – говорит он громким шепотом. – Я чего-то до сих пор не пойму, кто из них моя девушка.

– Выбирай рыжую, не ошибешься, – говорю я.

Он задумывается.

– Ты уверена? – спрашивает он серьезным голосом

– Конечно, – говорю я так же серьезно. – Рыжие они самые котистые.

Пока он раздумывает, я поднимаюсь.

– Я приду к тебе, когда никого не будет, – говорю я задушевно.

– Точно? – спрашивает он.

– Конечно.

– А куда ты придеешь? – спрашивает он хитро и грозит пальцем. – Ты знаешь, где я живу?

– Нет, – говорю я. – Я буду обходить все квартиры и спрашивать: не здесь ли живет молодой человек, который приглашал меня в гости?

– Сорок третья квартира, – говорит он и повторяет. – Сорок третья. Ты меня не обманешь?

– Как можно, – говорю я уверенно.

Я перехватываю свой кирпич и делаю шаг вверх.

– Что это у тебя такое? – спрашивает он. – Ааа... Антиквариат... Дай посмотреть.

С необычной для пьяного ловкостью он отбирает у меня телефон и задумчиво жмет на клавиши.

– Э, – говорю я протестующе. – У меня там денег мало.

– Да не звоню я никуда, – говорит он, морщась. – Не бойся.

Между тем на поясе у него тренькает. Он вынимает из кобуры свой мобильник, смотрит на экран, что-то нажимает, и отдает мне телефон. Я сперва не понимаю, что он делает, и только потом доезжает, что он запомнил мой номер.

– Любишь старину? – спрашивает он, возвращая мне кирпич.

– Полюбишь поневоле, – отвечаю я и поднимаюсь, откуда пришла. Неподвижно, как чугунный памятник, он пытит сигаретой.

Я возвращаюсь в лифтовый холл. Вроде бы проветрилось, или я сроднилась с духом жареной камбалы... Сорок третья квартира. Запомним на всякий случай. В нашем доме трудно без союзников.

Не успеваю я как следует закрыть дверь, звонит телефон.

– Нинк! – говорит Вера ликующе. – Мишка тут один контактик подкинул.

– Он же во Вьетнаме, – отвечаю я тупо.

Вера тяжело вздыхает.

– Проснись, мать, ты в каком мире живешь. Телефоны сейчас есть, знаешь... сети компьютерные...

– Во Вьетнаме тоже? – спрашиваю я изумленно, и только потом до меня доходит, что я сказала. У меня точно что-то с головой...

Вера на другом конце провода, кажется, понимает, что на отвлеченные темы до меня не дойдут.

– В общем, ты завтра на собеседование пойдешь. Мяу-мяу. Ты его сделала, сделала!

– Как же это сделала, – говорю я недоуменно. – Когда сделала, собеседований никаких не надо... Мне, к примеру, не требуется ни с кем собеседовать...

Всю ночь я вскакиваю и смотрю на будильник. Как бы не проспать. Подниматься, подобно трудящимся, я отвыкла давно.

В результате я зверски не высыпаюсь. Представляю со стороны свою мятую физиономию. Около девяти я звоню Саше. Лучше подстраховаться лишней информацией.

– Здравствуй, – говорит он настороженно. Он знает мою несовместимость с ранней побудкой, следовательно, либо что-нибудь случилось и придется участвовать (а не хочется), либо мне что-то нужно. В общем, все плохо.

– Слушай, – говорю я. – У меня к тебе принципиальный вопрос.

– Ну что, что такое?

– Мне тут надо на метро проехать, – говорю я. – А я сто лет не ездила. Скажи ты мне как специалист-подрывник: куда нужно садиться, чтобы не взорвали?

– Я не специалист-подрывник, – говорит Саша недовольно.

– Ну дипломат, – говорю я. – Какая разница. Это смежная профессия. Ты наверняка знаешь.

– Нина, не ерничай, пожалуйста, – говорит Саша сухо.

– Ты же все равно знаешь, куда по науке положено бомбу закладывать! – возмущаюсь я. – Что, сказать трудно? Самому-то все равно – ездит себе на машине...

– Ну в середину состава, – цедит Саша.

– В середину? – спрашиваю я недоверчиво. – А почему прошлый раз взрывали начало?

– Потому что неграмотные.

– Хорошее объяснение, – говорю я со вздохом. – Как бы знать, какие попадутся... У тебя нет на этот счет агентурных сведений? В высоких бизнес-кругах ничего не слышать? Каких следующих закинули?

– Не говори глупости, – отвечает Саша. – Куда ты собралась?

– По делам, – злорадно отвечаю я и вешаю трубку.

Я прихорашиваюсь перед зеркалом, когда звонит Вера.

– Нинка! – кричит она в трубку. – Возьми бумажку и запиши.

Господи, что еще стряслось... Я поспешно пытаюсь нашарить бумажку. Никакой бумажки у меня, конечно, нет. Приходится записывать на краю квитанции о квартплате. Ничего страшного, все равно ее обрезать. Хорошо, хоть ручка есть.

– Значит, пиши, – диктует Вера. – Я вчера выяснила. Если будут спрашивать про цвета, называй в таком порядке: красный, желтый, зеленый, фиолетовый, синий, коричневый, серый, черный.

– И что это значит? – говорю я тупо. – Это радуга, что ль?

– Неважно! Сама ты радуга. Ты, главное, запомни. Если будут спрашивать, говори в той же последовательности.

– А смысл у этого есть? – спрашиваю я.

– Нет никакого смысла. Запомни, и все. Ты, я надеюсь, платье свое оставишь дома?

– Да что тебе мое платье? – возмущаюсь я.

– Я кому сказала! Не вздумай! И не делай там честные глаза, ври напропалую. Что ни спросят, все ври. Ты помни, что они от тебя по другую линию фронта.

– Хорошо, – говорю я.

После чего в раздумье смотрю на себя в зеркало. Ну ладно, бантик я сниму, уговорили. Но насчет платья... Может, оно и не последний писк офисной моды, но в нем я живой человек, а если надену что-нибудь другое, то буду, как манекен на параде. Все-таки не рубище, сойдет и так.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.